

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



РОМАН №14 ГАЗЕТА

«Вернуться к себе» / Современный рассказ



10 КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

6-9 июня 2024



Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная
коллегия:

Дмитрий Белюкин
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Владимир Личутин
Юрий Поляков

Ответственный
редактор
Елена Русакова

Права
на использование
товарного знака

«Роман-газета»
принадлежат
ООО «Роман-газета»

© ООО «Роман-газета», 2024
Все права защищены

Журнал зарегистрирован
в Министерстве связи
и массовых коммуникаций РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-68350
от 30.12.2016 г.

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Подписные
индексы издания:**

в объединенном
каталоге

«Пресса России»
38915 на полугодие;

в электронном каталоге
«Почта России»
П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2024 № 14 /1955/ Основана в 1927 г.

«Вернуться к себе» Современный рассказ

Георгий Пряхин

Воздухоплаватель

Слово о Вацлаве Михальском (1938–2024)

Где-то в конце семидесятых прошлого века мне довелось ставить на полосу в «Комсомолке» небольшое, изящное эссе Валентина Катаева о творчестве в общем-то молодого, тогда ещё сорокалетнего Вацлава Михальского. Называлось оно, если память не изменяет, «Дар воображения». В таланте Михальского мэтр выделил именно это качество. Вряд ли сейчас среди современных литераторов есть ещё хотя бы один, кого напутствовал в дорогу этот самый непревзойдённый стилист советской литературы. Дар воображения... Детство и юность Вацлава прошли не в Одессе, в другом приморском городе, более суровом, в Махачкале — да и море здесь куда суровее и, мне кажется, даже куда работающее, — но мне он так и мнится, по стилю, по лёгкости письма, по летучей и вездесущей иронии, прямым преемником знаменитой одесской, черноморской плеяды: Олеси, Катаева, Багрицкого. Особенно Юрия Олеси: мать у Вацлава донская казачка, русская красавица, а отец — поляк, хотя и «наш», советский, тоже Вацлав Михальский. Мы с Вацлавом дружили почти полвека, и я всегда называл его шляхтичем советской литературы.

А совсем недавно от его дочери Тани узнал, что в первой своей «московской» повести «Печка» Вацлав «беллетризировал» биографию родителя, написав, что тот погиб на Великой Отечественной. На самом деле, оказывается, всё ещё горше: Вацлав Михальский-старший, успешный инженер, репрессирован и злодейски расстрелян ещё в тридцать восьмом, когда младший ещё счастливо пребывал в материнской утробе. Дар воображения сработал и здесь: Вацлаву так хотелось иметь героического отца, а главное — продлить ему, отцу, которого он никогда и в глаза не видел, жизнь хотя бы до его, сына, первенца, рождения!

Воображение — писатель поменял отцу и профессию, сделав его лётчиком. И тоже неспроста: Михальский и в творчестве, и в жизни своей навеки остался *воздухоплавателем*. Небо, свет, ароматы земного разнотравья и крутой волны навсегда пронизали его вещи: от той же изумительной повести-притчи «Печка», как раз и посвящённой любви и трагическому расставанию навеки отца и матери, да и расставанию с собственным безотцовским детством, до могучей, многоотной эпопеи «Весна в Карфагене».

...Я написал «вряд ли найдётся», хотя теперь уже точно: *не найдётся*: в апреле этого года, на зачине весны и света, после тяжелейшей и, слава Богу, непродолжительной болезни, Вацлав ушёл. Теперь они, талантливые питомцы двух разных морей, встретятся уже в общем великом океане — в небесах.

С «Роман-газетой» мой заветный друг Вацлав связан прочной родовой пуповиной, которую не прервала даже его смерть. Я очень рад, что эта цитадель русской литературы выпускает в большой мир, словно стригунков в донскую левалу, его последние, по существу предсмертные, миниатюры. Совершенно документальные, хотя всё так же полные фантазии — идущей, между прочим, от чрезвычайной, прямотаки чеховской — тоже ведь рождён у моря! — наблюдательности. Иронии и её самой мудрой разновидности — самоиронии. Вацек любил читать мне по телефону, из-под своего Шишкиного Леса, где он отныне и поселился навечно, свои только что написанные арабски. И каждый раз утешительно предупреждал:

— Ты только не беспокойся — оно коротенькое...

А я был не прочь послушать и длинное.

Я знаю, слышал вживую всё, что печатает сейчас «Роман-газета». И мне даже кажется, что он уже продиктовал это — оттуда. Вы не беспокойтесь: они очень короткие. И очень приметливые. И — талантливые.

Вацлав Михальский Луи

— Числа управляют миром, — из тьмы веков назидательно произнес Пифагор, и властный голос его тут же канул в бездну.

— Может быть, — задумчиво согласился с великим Пифагором Луи, — но почему числа обозначаются именно арабскими цифрами?

Пифагор ничего ему не ответил, и тогда Луи обратился ко мне:

— А что скажешь ты, Патрис? Ты ведь всю жизнь сидишь на цифрах?

— Не знаю. Никогда не задумывался об этом.

— В том-то и дело, что о многом мы никогда не задумываемся, — сказал Луи, и голос его растаял во тьме.

Запищал будильник моего мобильного телефона. Он специально пищит так противно, что любого разбудит в любой стране. На этот раз он разбудил меня в России, в отеле «Марриотт», что на Тверской улице в Москве.

Мой мобильник показывал восемь часов утра по московскому времени, а за окном было еще совсем темно. Встав с постели, я подошел к высокому окну, из-за которого не проникало в номер ни единого звука, хотя внизу по улице плыл плотный поток машин с зажженными фарами, настолько плотный, что эти светящиеся в неоновой рекламной мгле машины напомнили мне рыбу, идущую на нерест бок о бок. Я давно не читаю художественную литературу, а только книги о природе, о повадках зверей, домашних животных, птиц, земноводных. Не знаю, почему так получилось, но в последние годы все складывается именно так.

Отойдя от окна, я вспомнил свой сон и опять подумал про Луи. Конечно, он редко снится мне. Но когда и не снится, то по ночам в чужой стране или дома, сидя днем у себя на работе в банке, которому триста лет, или в минуты сложных переговоров с моими партнерами где-нибудь в России или Китае, я частенько думаю о Луи. У меня десятки близких и дальних знакомых мужчин и женщин по всему миру, я, можно сказать, всегда в водовороте людей, но никогда и ни о ком из них я не думаю больше двух-трех минут, а о Луи могу размышлять часами. И когда наступает необходимость принять важное решение, я мысленно советуюсь только с Луи. Пока мы не ошиблись ни разу.

— Дорогой Луи, я — постоялец отеля «Марриотт» в Москве, — громко сказал я, стоя под душем.

— Все мы на этом свете постояльцы, — чуть слышно ответил мне Луи.

— Я люблю Россию, люблю русских, может быть, потому, что в молодости у меня была русская жена. Мы любили друг друга и два года прожили с ней в Москве. Никогда в жизни и ни с кем я не дурачился и не хохотал так много, как с моей русской женой. Я швейцарец. И она в шутку звала меня «швейцаром», а я ее — «матрешкой».

Тысячу раз слышал, что главное в этой жизни уметь любить. Не спорю. Но моя «матрешка» сказала мне однажды то, чего я ни от кого не слышал, нигде не читал, да и своим умом никогда не доходил до этого. Она сказала: «Ты не умеешь быть любимым».

Наверное, поэтому мы и расстались. И только теперь, на шестом десятке, я понимаю, как она была права и как мне не хватило тонкости, такта и вкуса к жизни в той игре, которая зовется между людьми брачными узами. Очень важно уметь любить. Но еще труднее уметь быть любимым или любимой. Теперь я понимаю это как дважды два, дорогой Луи, но «удача промчалась мимо» и мне ее не догнать, не вернуть.

Я открутил воду, как говорят русские, на всю катушку, и продолжал разговаривать сам с собой, но конечно же краем сознания не упуская из памяти

моего друга Луи. Некоторые любят петь под душем, а я люблю болтать сам с собой. Приезжая в Россию или в Китай, я по пять-шесть часов в день провожу на так называемых переговорах, где стараюсь поменьше говорить и побольше молчать. Так что сейчас, под колкими струями душа я компенсирую свою нарочитую молчаливость.

— Понимаешь, Луи, я два года жил в России, очень часто езжу туда по делам и вроде бы многое знаю о России и русских, но кое-что не могу понять. Ты, наверное, сейчас подумал о том, о чем все думают: почему в самой большой и самой богатой стране мира так много бедных? Нет, Луи, в моем уме сейчас мелькнул вопрос попроще. Например, вот сейчас зима и световой день здесь очень короток, а местные власти взяли и отняли у людей еще час светлого времени суток. Целый час! Зачем? Я у многих об этом спрашивал, но никто так и не объяснил мне толком, «где тут собака зарыта?», как говорят опять же русские. Хотя, извини, Луи, я забыл про одного старика. Понимаешь, какое дело, когда у меня выпадает часа два свободного времени, я очень люблю ездить по Москве на трамвае. По нынешним временам это даже старинный вид транспорта, и особенно хорошо, что у трамваев в Москве есть круговые маршруты. Обычно я делаю два круга, сижу, смотрю в окно, иногда думаю, но не про работу, иногда удается поговорить с каким-нибудь соседом. И вот недавно в полупустом трамвае, что ходит по кольцу в центре Москвы, сидел напротив меня старичок, хотя, нет-нет, правильнее будет о нем сказать «мужчина преклонных лет». На голове у него была старая ушанка из серого каракуля. Уши шапки были завязаны на макушке обтертыми кожаными тесемками, поэтому я хорошо видел, как обветшали от времени серые колечки каракуля.

Я знаю, что такое каракуль, потому что у моей русской жены была очень тяжелая каракулевая шуба. Когда мы ходили в театр, после спектакля я держал наготове эту тяжелую шубу, а жена все прихорашивалась перед зеркалом или невероятно долго искала губную помаду в недрах своей сумочки; у меня даже начинали подрагивать от усталости вытянутые перед собой руки, я ведь держал шубу раскрытой.

Но вернемся к моему визави по трамваю. Лицо у него было угрюмое, как и у многих других русских, когда они в толпе наедине сами с собой. Лба его я не видел из-за шапки, светло-серые глаза были усталые, смотрящие как бы внутрь самих себя, нос крупный, ровные белые зубы явно вставные, подбородок венчала маленькая седая борода, очень аккуратно подстриженная. Пальто на мужчине было из дорогого габардина (я хорошо знаю эту ткань), но очень старое, да еще заштопанное на левом рукаве. Брюки тоже старые и опять же аккуратно заштопанные на

левом колене — наверно, он когда-то упал на левую сторону или кто-то чем-то ударил, туфли почти разбитые, но начищенные гуталином до блеска. Все в старике говорило о том, что он держится из последних сил, но все-таки держится с достоинством, и при этом от всего его существа исходит удивительное спокойствие. Да, и еще: у него на коленях лежал прозрачный полиэтиленовый пакет с большой бутылкой молока и маленьким черным хлебом. По моему, он называется у русских «бородинский». Бородино — это русское село, где произошла великая битва между войсками Наполеона и войсками Кутузова. Со времени той битвы прошло двести лет, но так и неясно, кто тогда победил. Французы считали и до сих пор считают, что они, а русские уверены, что это их победа.

Не знаю, почему, но вдруг я спросил моего визави:

— Скажите, пожалуйста, а для чего отняли у людей час личного светлого времени суток? В чем дело?

Мужчина окинул меня неожиданно цепким взглядом еще минуту назад таких усталых, потухших глаз. Выдержал паузу. И наконец ответил мне негромким глуховатым голосом:

— Поскольку вы иностранец, надобно бы для вас выразиться изящно. Свое изящное что-то не приходит мне в голову. Но вот недавно один наш ученый выразился так: «Всплыли легкие фракции».

Трамвай подошел к остановке. Я понял не все, сказанное моим визави, а он уже был у дверей, и когда они открылись, то осторожно спускаясь по ступенькам, мужчина обернулся ко мне и добавил:

— Слышу, что вы швейцарец, но хорошо говорите по-русски, и мне были приятны и ваш французский язык, и ваш франко-контский акцент с легким налетом берн-дойча.

— Мужчина давно сошел, трамвай тронулся в путь, а я все сидел с открытым ртом. Понимаешь, Луи, как непостижимы эти русские. Можно понять, что я швейцарец, можно заметить французский акцент, даже франко-контский, но налет берн-дойча! Нет, это невероятно. Значит, передо мной был такой знаток языков, какие встречаются один на миллион, а может, и того реже. Нет, дорогой Луи, проживи я в России хоть всю оставшуюся жизнь, все равно не пойму очень многого.

День получился у меня не сильно загруженный, я отказался от званого ужина и рано пришел в отель. Рано по нашему, по средневропейскому времени, а по московскому — в девять часов вечера. Немножко посидел за своим дорожным компьютером и кое-что узнал про арабские цифры, о которых говорил мне ночью Луи. Вдруг и сегодня он мне приснится, так у меня будет, что ему ответить. После легкого душа я поставил будильник моего телефона на шесть утра по

московскому времени, задернул тяжелые портьеры на окне, чтобы мерцающий цвет рекламных вывесок не помешал мне заснуть, и лег в постель.

Даже в самых дорогих отелях мира в номерах пахнут прежними постояльцами. Сколько ни проветривай, сколько ни брызгай дезодорантом, сколько ни пылесось, ни три, ни мой, все равно прежние запахи не истребишь абсолютно. Конечно, все зависит от силы обоняния и его тонкости. У меня обоняние не хуже, чем у хорошей гончей собаки, которая идет по следу. Когда-то давным-давно кто-то сказал мне, что острое обоняние — признак высокого интеллекта. Я запомнил эти слова навсегда и с тех пор наедине с собой очень горжусь моим обонянием, читай: интеллектом.

Мне пятьдесят. Когда-то это считалось старостью, и сам я в юности точно так же думал об этом возрасте. А по нынешним меркам я молодой мужчина, и теперь я тоже так о себе думаю.

— Ну, что, Луи, приснишь мне, пожалуйста, — сказал я негромко и повернулся на правый бок в надежде уснуть. И уснул. И Луи услышал мою просьбу и снова приснился мне под утро.

Я еще и не улетал из Москвы, а во сне оказался уже дома, и мы с Луи разговаривали в небольшом дворике моего шале.

— Понимаешь, Луи, я кое-что выяснил насчет арабских цифр. Оказалось, что цифры, которыми пользуется весь мир, вовсе и не арабские, а индийские. Возникли они в Индии, кажется, в те времена, когда Александр Македонский пытался завоевать эту великую страну, или в начале нашей эры. Теперь мне ясно, почему и сегодня в Индии так сильны математики и так высоко стоит все, что связано с этой сферой. Из Индии понятие ноль и цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 распространились дальше и дошли до Персии, которую в восьмом веке нашей эры завоевали арабы и переняли их числа и десятичный счет. Великий арабский ученый Аль-Хорезми, кстати сказать, узбек из Хорезма (ты, конечно, помнишь, Луи, что в прошлом году я летал в Узбекистан?), так вот этот ученый, который основал алгебру, в девятом веке нашей эры написал книгу «Об индийском счете». Только в XII веке через мусульманскую Кордову, а оттуда через христианскую Барселону книга попала на Европейский материк, была переведена на латинский и, таким образом Европа приобщилась к индийским цифрам, которые стали называть арабскими, потому что они пришли от арабов. О, дорогой Луи! Как много в этом мире подмен! Никак не меньше, чем ложных авторитетов и сомнительных истин.

— «Все в этом мире совершается походя», — кажется, так сказал великий русский писатель Достоевский, которого очень почитают у нас в Европе, — продолжил я, но тут неожиданно зазвонил мобильник, и

наш разговор прервался. Оказалось, что звонок был случайный, перепутали какую-то цифру и набрали мой номер. К счастью, я не успел проснуться как следует и, повернувшись на правый бок, постарался встретить Луи в дебрях моего сознания. И встретил.

— Ты очень много работаешь, а в чем смысл? — неожиданно спросил меня Луи.

— Смысл работы или смысл жизни?

— И то, и другое. Эти понятия ведь переплетены между собой, а особенно в твоей жизни, — едва слышно сказал Луи. Он всегда говорил очень тихо, как будто голос его долетал издалека.

— Дай подумать, — нерешительно ответил я. — Ты знаешь, Луи, я работаю с деньгами, но не потому, что настолько люблю деньги, а оттого, что так сложилась моя жизнь, и жизнь моего отца, и деда — это у меня потомственное. Можно сказать, что я сам не выбирал свою дорогу, а она была уготована мне предками. Ты спросишь, как я отношусь к деньгам? Очень спокойно, может быть, потому, что они всегда были у меня, есть и будут, во всяком случае, на мой век их хватит. Вот сейчас говорю с тобой о деньгах и вдруг подумал: а я ведь даже не знаю, сколько их зарабатываю. Никогда не подсчитывал. Те, кто в каждомдневном разнонаправленном движении денежных дел, меня поймут, а другим что толку объяснять. Ты знаешь, Луи, я никому не говорю об этом, но мне давно кажется, что деньги приобрели в последние годы слишком большое значение, а ведь они, всего-навсего, лишь инструмент. Деньги не должны стоять на первом месте, а сплошь и рядом стоят. Не может рубанок быть важнее плотника, а по нашей жизни получается, что может. Так от подмены понятий и авторства целых народов, я имею в виду пример с цифрами, мы перешли к подмене ценностей.

— А что ты скажешь о вечной жизни для человека? — неожиданно перебил меня Луи.

— О, это была бы катастрофа, может быть, даже бо́льшая, чем Всемирный потоп!

— Почему?

— Да потому, что решать будут деньги, коварство, сила. Так что долголетие получают не самые умные, не самые талантливые, не самые добрые и достойные, не самые красивые и даже не самые богатые — в последний момент выскочки и прощельги их обманут.

Какая-то большая серая птица пролетела в голубоватом тумане моего сна, и мы с Луи отвлеклись от темы.

— Луи, — восстанавливая разговор, — спросил я, — а как ты думаешь, коровы, овцы, козы, собаки, кошки, лесные звери, птицы, рыбы имеют душу?

— А что мне тут думать, — отвечал Луи, — я и так знаю, что имеют. «Это и ежу понятно», — как говорят опять же твои русские.

Тут-то и завершал мой мобильник, которому я велел разбудить меня в семь утра по московскому времени. Он пищал так противно, что я проснулся немедленно, даже не попрощавшись с Луи.

Я встал так рано потому, что улетал домой и в девять утра, а по-нашему в шесть мне нужно было быть в аэропорту на регистрации пассажиров.

Я прилетел домой еще до полудня. В нашем небольшом городе, где проживает около четырехсот тысяч человек, очень большой аэропорт. Это как-то сразу дает понять путешественнику, что город хотя и маленький, но очень непростой и не зря он известен всему миру. Взяв на парковке свой автомобиль, я с легким сердцем отправился к моему дорожному Луи.

Я живу высоко на лесистой горе, и от моего дома отлично видно зеркало нашего знаменитого озера, что посреди города. По дороге из аэропорта я как бы пунктиром думал о том, что сказали бы мои сотрудники, услышав наши ночные беседы с Луи? Подумали бы о психиатре? Я перебрал в памяти лица моих сослуживцев, кстати сказать, весьма приличных людей. Скорее всего, у каждого из них тоже есть тайные радости, которые они никогда не выплескивают на поверхность служебных и бытовых отношений. Конечно, есть, не может быть иначе... но и они и я одинаково строго помалкиваем об этом. Как говорят русские: «молчание — золото, а слово — серебро». Да, русские так говорят, но сами не придерживаются этой мудрости, а наши придерживаются неукоснительно.

Я въехал в небольшой, желтый от электричества тоннель, а когда мой автомобиль снова вынырнул на натуральный свет божий, я прищурился и увидел перед собой лицо старика в каракулевой шапке, с которым мы коротко поговорили в трамвае, вспомнил его «всплыли легкие фракции» и засмеялся с таким удовольствием, что даже бросил руль на две-три секунды. Нет, все-таки я не очень хорошо владею русским — только сейчас я понял, что он имел в виду под «легкими фракциями», что всплыло! «Нет, народ, в котором столько самоиронии, еще далеко не сломлен», — отсмеявшись, подумал я о русских. Всякий раз, когда возвращаюсь из Москвы, у меня возникает такое чувство, будто я потерял что-то очень важное, потерял, а то и бросил на произвол судьбы. Тут я вспомнил, как однажды моя русская жена потеряла сережку, совсем недорогую, с фианитом — искусственным бриллиантом. Она искала ее, ползая на коленках по всей нашей тесной квартирке, и то и дело смахивала с лица горючие слезы.

— Во-первых, перестань плакать, потому что из-за слез ты можешь и не разглядеть свою сережку, — посоветовал я, — а, во-вторых, я куплю тебе настоящие бриллиантовые сережки...

— Плакать перестану, за совет спасибо, — задрала голову, чтобы посмотреть мне в глаза, сказала стоявшая на четвереньках жена. — А на твои сережки плевать я хотела. Мои сережки не имеют цены!

— Всё, дорогая, имеет цену, — глядя на нее с высоты своего немалого роста, внушительно сказал я жене. — Все имеет цену, запомни это раз и навсегда.

И только теперь, когда разменял шестой десяток, я понимаю, что моя молодая жена была права: не все имеет цену. Например, Луи, разве я предаю его за любые деньги? Ни за что на свете!

Я не женился во второй раз и, наверное, поэтому не обзавожусь собственным домом, а снимаю внаем это шале высоко на лесистой горе, но, по нашим понятиям, в центре города в весьма респектабельном районе.

Мой дом встретил меня чистотой и уютом, значит, вчера приходила Галина Ивановна. Я преклоняюсь перед этой женщиной. Теперь у нас в Швейцарии живет немало новых русских. Так называют сейчас богатых людей из бывшего СССР. Это люди разных национальностей, но для нас они все русские, впрочем, как и для всего остального мира. Помимо богатых иногда попадаются у нас и совсем небогатые русские, такие как, Галина Ивановна.

Сначала я знал о Галине Ивановне только то, что сказали мне ее рекомендатели: «убирает идеально, и человек абсолютной честности, ей следует доверять». Теперь я знаю о ней и многое другое. Я всегда разговариваю с Галиной Ивановной только по-русски — это в моих интересах, благодаря ей я держу мой русский в активе, это для меня очень полезно. Вот уже четвертый год Галина Ивановна убирает в моем доме и во дворике. И теперь, когда я приезжаю в Россию, мне часто говорят: «Вы сильно продвинулись в русском, какой молодец!», а я помалкиваю насчет Галины Ивановны. Интересная подробность: и она, и я люди одной профессии — юристы. И оба специализировались по гражданскому праву: она — по российскому, я — по швейцарскому. Конечно, более нелепой профессии для эмигрантки из России и придумать невозможно. У себя дома, в крупном городе на юге своей родины, Галина Ивановна была доцентом университета, кандидатом наук, по-нашему — доктором. И вот теперь доктор Галина Ивановна — путцен фрау (дословный перевод с немецкого: «чистить женщина»). А попросту говоря, уборщица. Но, хочу заметить, что чувство собственного достоинства настолько развито у этой хрупкой, светловолосой, голубоглазой женщины, что новая работа нисколько не смущает ее. А стесняется она совсем удивительного, того, к чему сотни других женщин стремятся так активно, что даже идут на имплантацию. При всей видимой хрупкости Галины

Ивановны у нее большие груди. На мой взгляд, они далеко не сверхъестественные, и это ее никак не портит.

Но Галина Ивановна вбила себе в голову, что они слишком большие, и стесняется. Когда я был подростком, мне почему-то казалось, что у меня ужасно низкий лоб, и, чтобы скрыть его, я носил челку почти до бровей. Сейчас я вижу, что лоб у меня выше высокого. И вынес из этого курьеза единственное суждение: «все мы живем в мире собственных заблуждений». Почему я преклоняюсь перед Галиной Ивановной?

Чуть не забыл ответить на этот важный вопрос. Увы, мы все частенько забываем самое существенное.

А уважаю Галину Ивановну я за то, что она человек героический. Раньше такие качества, как решительность, отвага, мужество, считались мужскими. А сейчас многое поменялось, и, на мой взгляд, мир может надеяться на женщин в большей степени, чем на мужчин. В самом начале текущего XXI века у Галины Ивановны тяжело заболела ее маленькая дочь, кажется, какой-то редкой формой астмы. Врачи сказали однозначно: «Здесь мы девочку не спасем. Надо ехать в Европу, лучше всего, в Швейцарию». За десять дней она распродала все имущество, включая квартиру, собрала в дорогу мужа, дочь, и по туристической путевке они отправились в Швейцарию. Когда-то в школе она учила немецкий, в университете — английский.

И вот с этим весьма скудным языковым багажом Галина Ивановна все-таки смогла добиться понимания в чужой стране, смогла зацепиться и определить дочь на лечение.

У мужа Галины Ивановны оказалась удачная профессия — бывший инженер-гидролог стал чистить и поддерживать в рабочем состоянии бассейны на виллах у новых русских, что само по себе весьма непростая задача, требующая определенных знаний и навыков. За несколько лет наши швейцарские врачи полностью вылечили дочь Галины Ивановны и теперь советуют ей перебраться к морю.

Я горжусь моей Швейцарией! Это только среди так называемых либералов России патриотизм почему-то считается ущербным чувством. Почему? Я догадываюсь, но как иностранец не считаю возможным давать по этому поводу свои оценки.

Я знаю, что сейчас дочь Галины Ивановны почти взрослая, очень красивая девочка и они собираются перебраться к морю, в Испанию. Где-то там девочка поступит в университет, чтобы, как и ее мама, стать юристом. Жаль, что они уедут. Конечно, найдется другая путцен фрау, но я всегда буду помнить Галину Ивановну. Так уж устроена жизнь, что все уплывает, и, чем становишься старше, тем оно

уплывает все быстрее и быстрее и так неумолимо сливается с линией горизонта, что, глядя на эту линию, невольно задумываешься: «Вот она, черта. А что за чертою? Тлен и небытие или все-таки что-то другое?»

«А что думаешь по этому поводу ты, Луи?» — спросил я мысленно.

Луи промолчал.

Помывшись и переодевшись с дороги, я вышел из дома в небольшой дворик, граничащий с лесом, который по нашим швейцарским законам является собственностью государства. Солнце стояло высоко, и озеро внизу блистало так ярко, что на него было трудно смотреть.

— Луи, — сначала очень тихо, а потом все громче стал звать я, — Луи, Луи!

Полная тишина была мне ответом.

Наконец я увидел его. Высунув остроухую и остроносую мордочку из-за нежно-зеленого кустарника на кромке темного леса, Луи смотрел на меня внимательно и радостно, точно так, как он смотрит с фотографии в моем мобильнике.

— Привет, Луи! Вот я и приехал! Здесь у тебя тепло, а в Москве темно и холодно.

Луи не убежал от меня, но и не приближался. Он поступал так всегда: дружба дружкой, а дистанция дистанцией.

Мы подружились с лисом Луи еще три года тому назад и доверяем друг другу. Наверное, он по лисьим, а я по человеческим меркам примерно одного возраста, так что у нас за плечами немало всякого разного и мы уже кое-что поняли в этой жизни. Так что нам есть о чем помолчать друг с другом.

Почему он Луи? Так получилось. Когда я заметил его в первый раз, то перепробовал множество имен, но он стал отвечать мне вниманием только на имя Луи.

С тех пор как у меня появился друг Луи, жизнь моя не пустая, в ней есть сокровенное зернышко. На ночь я выставляю для Луи миску молока, кладу на скамейку подушки... Иногда поутру я нахожу их примятыми, значит, Луи спал на них. Я бесконечно рад, что у меня есть мой друг Луи. Надеюсь, что и для Луи я значу больше, чем миска молока, не зря ведь он намекал мне во сне о своей душе. Наши души соприкасаются и поддерживают друг друга на этом свете. Может быть, так будет и на том... кто знает? Пока еще никто не вернулся оттуда и не рассказал, что и как...

Завтра с утра мне опять в банк, считать числаленьги, даже и не деньги в их прежнем виде нарезанных цветных бумажек, а арабские цифры в компьютере — отражение отражения. Но зато у меня есть Луи!

Не судьба

В общежитии нашего института душевые кабины были в подвале. Не скажу, чтобы там царила какая-то особенная грязь, но все-таки подвал есть подвал. Общая затхлость влажного воздуха, сложный запах закишей по углам мыльной пены, недостаточно хорошо промытых стоков, хотя и не сильный, но все равно едкий дух хлорки, тусклый свет желтых лампочек над головой как-то не располагали к радости и обновлению, которые всегда как бы само собой сопутствуют купанию.

Осенью и зимой первого курса я еще совсем плохо знал Москву, и мне не приходило в голову пойти куда-нибудь в городскую баню. К лету я осмотрелся в столице и стал ходить в знаменитые Селезневские бани.

Хорошо помню тот полдень первого июньского дня. Проснувшись, я сладко потянулся всем телом и с удовольствием ощутил, как ноют мышцы шеи, спины, рук, ног. Хорошо, что, возвратившись в общежитие с первыми звуками утреннего гимна, я сразу сходил в душ помыться, а, главное, постоял под горячими струями воды, очень горячими. Еще наш армейский тренер говорил: «После приличных нагрузок, ребята, главное — горячий душ и, чем горячее, тем лучше».

Я вернулся под утро не с гулянки, а после большого, четырехосного вагона цемента, который мы разгружали вшестером. Мешки из вагона таскали в кузов грузовика с открытым задним бортом, который всякий раз водитель подгонял прямо к отодвинутым дверям вагона. На этот раз нам повезло. Цемент был не рассыпной навалом, что иногда случалось, а высокой марки в прочных бумажных мешках по пятьдесят килограммов. Первый час носить их было одно удовольствие. Но постепенно каждый следующий мешок становился все тяжелей и тяжелей. К утру мы были рады закончить и нас чуть-чуть пошатывало. Нам, студентам, платили сразу после окончания работы. Почему-то у плативших это называлось — «аккордно». Платили без проволочек живыми деньгами — из рук в руки. Я еще в январе случайно прибил к студентам из соседнего института, которые разгружали по ночам вагоны. Обычно мы работали два раза в неделю. Платили нам по 25, 30, а то и 35 рублей каждому за ночь. Если учесть, что моя стипендия была 25 рублей в месяц, а проезд в метро стоил 5 копеек, то зарабатывали мы очень хорошо. Знаю, что вспоминать о старых ценах признак старости, но зато какой урок истории и экономики вместе взятых.

Еще в апреле я написал маме, что заменил все солдатское на гражданское и денег мне посылать больше не надо. А, если что, то я и сам пришлю. Ма-

ма написала мне в ответ, чтобы я не увлекался заработками, а больше думал об учебе и, как всегда, вложила между страницами письма трехрублевую купюру. Мама очень боялась, что я не окончу институт. Я, можно сказать, забыл, а она ведь прекрасно помнила, что сыночек у нее вечный двоечник, случилось даже — второгодник и шалопай из шалобаев. Мама боялась за мое будущее. А мне шел двадцать третий год, я отслужил армию, на удивление всех родных и знакомых, прямо из солдат поступил в знаменитый в те времена московский институт, ничего не боялся и надеялся на все лучшее!

«Хорошо бы сходить в баню, — подумал я, потягиваясь еще и еще раз, — а до бани купить в ГУМе новую рубашку». Белые рубашки с длинными рукавами уже тогда стали моей слабостью, которая сохранилась и по сей день.

Полиэтиленовых пакетов в те времена в нашей стране еще не было, и люди обходились газетными свертками или нитяными сетками, авоськами. Приготовив газету, я полез в наш общий встроенный шкаф за своим чистым бельем, но выяснилось, что оно все израсходовано. «Ну и хорошо, куплю новое», — решил я, оглядывая незаправленные кровати моих товарищей по комнате, вспомнил, что сегодня какая-то важная консультация в институте, и, наверное, они убежали утром сломя голову. Ни в школе, ни в институте предэкзаменационные консультации меня не волновали, я всегда надеялся на авось. По-армейски аккуратно заправив свою постель, я пошел умыться, а потом налегке поехал в город.

Я купил в ГУМе все нужное, даже маленькое махровое полотенце — получился небольшой газетный сверток. А когда брал великолепную, белоснежную югославскую хлопчатобумажную рубашку за семь рублей, то, подавая ее мне в фабричной упаковке, полная накрашенная продавщица добродушно спросила:

— На свадьбу? Перед невестой покрасоваться?

Я засмеялся в ответ и отрицательно помотал головой, но что-то толкнуло в груди, что-то радостное и обнадеживающее.

— А зря, в белом ты будешь очень хорош! — печально бросила мне вслед продавщица.

Еще не окончился рабочий день, и Селезневские бани встретили меня малолюдством. Вроде здесь все было то же самое, что и в нашем душе: и вода, и мыльная пена. Почти одно и то же, но ничего общего. Во-первых, в Селезневских банях было светло и много воздуха; во-вторых, не чувствовалось противных запахов, потому что все стоки и потаенные уголки были промыты как надо; в-третьих, все посетители доверчиво улыбались друг другу, там я не видел

пьяных и ни разу не слышал, чтобы у кого-нибудь хоть что-то пропало; в-четвертых, ... в-четвертых, самое главное — большая парилка, где пахло дубовыми и березовыми вениками, а когда поддавали пивом, то вся она наполнялась горячим духом, который воодушевлял необыкновенно!

При входе в баню я купил березовый веник и надеялся попариться от души. Надежды мои оправдались. Как это часто бывало в Селезневских банях, там как раз парились военные спортсмены, а точнее, тренеры и спортивная обслуга, поскольку все дяденьки были в годах, во всяком случае, с моей тогдашней точки зрения.

— А поработай-ка, солдат, — подал мне в парилке свой березовый веник совершенно лысый старик с глубоко запавшими глазами на изможденном лице и поразительно молодым телом с такой рельефной мускулатурой, что мне сразу вспомнился известный рисунок Леонардо да Винчи, на котором изображен точно такой же юноша с лицом старика или старик с телом юноши-олимпийца.

Не знаю, как он вычислил, что я недавний солдат, но вычислил безошибочно.

Старик лег на лавку, а я старался веником как мог.

— Тяни пар, солдат, тяни от лысины и до пяток! Вот так, молодца!

Потом он парил меня — честно, без халтуры. Не с умением, а с мастерством.

Когда я наконец стал одеваться, то чувствовал, что вот-вот взлечу над кафельным полом. В последнюю очередь я надел с трудом освобожденную мною от множества острых булавок югославскую белую рубашку. Закатал рукава выше локтя, взял сверток с грязным бельем и пошел на выход.

Мне казалось, что в бане светло. Но вот он настоящий свет — на улице! Выйдя на крыльцо, я даже зажмурился от солнца. А когда открыл глаза, то сразу увидел девушку, увидел в то самое мгновение, как повернувшийся за угол от метро людской поток вынес ее мне навстречу. Рабочий день недавно закончился, и люди спешили по домам.

В те времена я был зоркий и сразу увидел, что русая девушка с волосами на прямой пробор и открытым лбом мадонны смотрит на меня — глаза в глаза. Да, смотрит на меня, а над ее головой сияет маленькая-маленькая, но полноцветная радуга: сначала фиолетовая, потом синяя, голубая, зеленая, желтая, оранжевая, и, наконец, красная, если смотреть снизу вверх.

Точно такую же чистую и полноцветную радугу я видел однажды после июньского дождя над необозримыми виноградниками моего детства. Высоко в небе пролегла между горами и морем высокая яркая радуга, в которой все семь цветов сияли в первозданной чистоте. Мне было тогда лет шесть, до этого я не

видел подобного чуда, и вот оно снова явилось передо мной.

Она плыла в толпе мне навстречу, и мы не отрывали глаз друг от друга. Да, мы смотрели в глаза друг друга с чистым восторгом. Людской поток нес ее прямо ко мне, а я стоял на крыльчке бани, как на капитанском мостике, и знал, что вот-вот, через несколько секунд, с ее полного согласия, я вырву ее из толпы, и она станет моей, а я стану ее на всю оставшуюся жизнь.

Юная русая девушка в голубеньком цветастом платице с рукавами-фонариками, с тонкими загорелыми руками. Толпа поднесла ее совсем близко, я рассмотрел широко раскрытые серые глаза, взглянувшие на меня с вызовом, доверием и надеждой. Я приготовился сбежать вниз по ступенькам.

— Гражданин! Трусы забыли! — вдруг выскочил из бани полуодетый распаренный пространщик и, повернув меня лицом к себе, сунул мне в руки скомканный газетный сверток.

Не помню, сколько я простоял в столбняке с этим глупым свертком. А когда наконец пришел в себя, передо мною текла совершенно пустая, бессмысленная толпа, не одухотворенная ее присутствием. Противясь между людьми и вызывая их гнев, я побежал в нужном направлении. Но тут преградили мне путь длинные вагоны двух позванивающих, набитых людьми трамваев, которые тронулись от ближних остановок встречными курсами. Я остановился в нерешительности. Наверное, она уехала в одном из трамваев. Насколько хватало глаз, я не видел ее нигде. С тех пор я много раз приходил в Селезневские бани и просто в тот переулок поглазеть на толпу после рабочего дня. Ее не было никогда.

Чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю и большую радугу от гор до моря над виноградниками моего детства и маленькую над головой той русской девушки, что навсегда оставила неизгладимый след в моей душе. Как будто показал мне Господь то, что никогда не будет дано, усмехнулся ласково и тихо молвил:

— Не судьба.

Рецензия

Даже в самые томительные безответные дни моего отрочества я не писал стихов — боялся. Инстинктивно побаивался писать и пьесы. Но как-то на первом курсе института приятель подбил меня на соавторство, и в клубах сигаретного дыма за неделю мы накатали пьесу. Честь честью отпечатали ее на машинке в четырех экземплярах, и, уезжая домой на каникулы, один экземпляр я взял с собою.